

ОТ РЕДАКТОРА

Представляем издание курса лекций, прочитанных Мерабом Константиновичем Мамардашвили в 1986–1987 гг. в Тбилисском государственном университете. Неизвестно, как именно этот курс лекций назывался в учебном расписании Тбилисского университета, но на каждой из 24 сохранившихся аудиокассет с записями лекций рукой Мераба Константиновича сделана пометка «Б. М.» — «Беседы о мышлении», с указанием номера лекции. Отсюда — название книги (первое издание вышло в 2000 г. под названием «Эстетика мышления»).

В этом коротком вступлении мне хотелось бы поделиться тем, что привлекло мое внимание в 2014 г. во время подготовки к изданию «Психологической топологии пути», а точнее — «Записных книжек» Мераба Константиновича.

В начале лета 1972 г., во время очередного отпуска на море, М. К. делает такую запись: «Читал Пруста (наконец мною вновь открытого): что бы ни говорил этот очарователь и столь близкий мне метафизик, философия или умозрение все-таки, конечно, выше поэзии — если рассматривать их со стороны экзистенциального усилия, овладевающего *целым* жизни и вновь воссоздающего ее уже на своих условиях, со стороны духовного достижения, реализуемого как акт бытия, как событие в нем. В философии это гораздо сложнее и чище. Поэзия (как и всякое искусство) все еще обре-

менена материей (меньше, чем «качества», *sensations*, но все же...), в ней поэтому сильна сторона умения, техники, артистического ремесла, «искусства», являющегося не только сопротивлением, но и подспорьем. Успех в этом слое может прикрывать и компенсировать неполный успех в духе, может искупить его. Раз остается сторона умения, одаренности чувством материи, то кто будет судить победителя-поэта, высекающего по ходу дела из материи непосредственно-художественно (и радостно, игрово) воспринимаемые искры, даже если он духовно всем делом не овладел? В философии он один на один с делом. *Hic Rhodus, hic salta*. Все чисто. Нет никакого умения и, соответственно, — никакого возможного *trompe-d'œil*¹, имеющего *самостоятельное* (и, возможно — от случая к случаю, — великое) значение и ценность в творческих результатах. Все это не в том смысле, что поэт не может быть на той же высоте духа, что и философ, а что поэзия в принципе дает такую возможность промежуточного успеха, частичного успеха в параллельном слое. А философия — нет». Эту запись, которую от лекций отделяет более десяти лет, читатель, безусловно, узнает в начальных пассажах книги.

У другой, более ранней, записи 1972 г., — иная судьба. Запись была сделана в связи с личной историей: «В моем мозгу роились философские миры, и они, конечно, останутся, и я их как-нибудь выстрою, я устою на ногах перед этим проклятым миром и переплавлю его *dreck*², но теперь в них будет горечь и отчаяние, неизгладимая печать предательства. (...) Опыт неизбежности зла». Слово «*Dreck*» повторится годами позже в «Беседах о мышлении» и снова — в контексте осознания неизбежности зла: «...ощуще-

¹ Техника создания оптических иллюзий (фр.).

² Грязь, дрянь, дерьмо (нем.). Хлам, дрянь (англ. разговорный).

ние, чаще посещающее людей в юности, есть необъяснимое и часто убийственное чувство, убийственное сознание необъяснимой хрупкости и абсолютной обреченности на гибель всего прекрасного, всего благородного, всего высокого. Удивительно, что все это прекрасное обязательно гибнет, а *Dreck*, как сказали бы немцы, живет и процветает; то на миг промелькнет и рассеивается, как бы и не было, а это обречено на процветание». Но пророчеству Мераба Константиновича о неизгладимой печати предательства, горечи и отчаяния не суждено будет сбыться: радость мысли, радость понимания станут лейтмотивом «Бесед о мышлении».

Елена Мамардашвили

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Наши беседы можно назвать эстетикой мышления. Искусство — это прежде всего радость, то есть не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с особым пронзительно-радостным состоянием человека. Марсель Пруст как-то заметил, что, может быть, критерием истины и таланта в искусстве, в литературе является состояние радости у творца. Состояние радости может быть и у читателя или зрителя. Что это за состояние радости, которое к тому же может быть и критерием истины? Можно сказать, что у мышления есть своя эстетика, что мысль (та мысль, о которой я хочу с вами беседовать, мысль, в связи с которой вообще возникают вопросы: что это значит? что это за состояния у человека? зачем оно?), безусловно, связана с радостью, иногда с единственной радостью человека.

Иногда или чаще всего нам ничего не остается, кроме как получить светлую радость мысли (хотя бы мысли). Можно добавить и другие слова — чаще всего достоинство человека выражается или может выразиться в том, чтобы хотя бы честно мыслить. Мы многое делаем по принуждению, и часто то, что мы делаем, не зависит от нашего героизма или трусости, но есть некая точка, в которой мы вопреки всем силам природы или общества можем хотя бы честно думать. И я уверен, что каждый из вас независимо от

того, удавалось ли вам быть не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, знает особое состояние, которое человек испытывает, когда загорается неизвестно откуда пришедшая искра, которую можно назвать Божьей искрой. Есть состояние пронзительной, томительной ясности, отрешенности и ностальгической, острейшей, тоскливой или сладко-тоскливой ясности. В мысли (в том, что я называю мыслью и чего мы пока не знаем) даже беду можно воспринять на звенящей, пронзительной и, как ни странно, радостной ноте. Но что может быть радостным в беде? Только то, что ты мыслишь, то есть сознание твоего сознания. Смешно думать, что, когда тебе больно, можно радоваться именно от этого, — радоваться можно лишь тому, что в этой боли выступило с пронзительной ясностью. Ты смотришь, опустив руки, и тем не менее никто не может отнять у тебя того, что ты видишь (если *видишь*).

Это состояние может испытывать каждый. Но, во-первых, его трудно объяснить, а во-вторых, оно растворено в других состояниях. Такое состояние может возникать в ситуации неразделенной любви, и, испытывая его, мы, естественно, отождествляем это с любовью, не отделяем одно от другого. Тем не менее то, о чем я говорю, есть мысль, а не любовь. Или [такое состояние может возникать тогда,]¹ когда мы с такой же поразительной ясностью можем видеть справедливость. Мы можем видеть двух сцепившихся врагов, режущих друг другу глотки, и знать, что они родные братья, но сами они этого не знают. Ты — знаешь, ты — видишь. Выразить это ты не можешь, так как не можешь свое сознание того, какова природа действий другого человека, навязать этому другому человеку, если он не понимает сам себя, — он не понимает, что

¹ Здесь и далее по тексту книги в квадратные скобки взяты вспомогательные редакторские вставки.

тот, кого он ненавидит, на самом деле его брат. Ты ясно видишь со стороны его положение, а он этого не видит. Трагически на твоих глазах сцепились обстоятельства вражды и ненависти, а ты видишь другой смысл этой схватки с абсолютной, но недоказуемой ясностью, но ни сам себе не можешь доказать [эту ясность], ни тем более этим сцепившимся в борьбе врагам-братьям, и, более того, не можешь им даже помочь. Но поскольку ты *видишь*, то нота радости все же присутствует — что бы ни случилось, как бы они друг друга ни убивали, куда бы ни покатился мир, если ты это увидел (то, что называется мыслью, или истиной), этого уже отнять нельзя — это было, это случилось, это необратимо. И может быть, именно с такой необратимой исполненностью и связана эта радость.

Значит, радостью может быть такое чувство необратимой исполненности смысла. К этому приложимо слово «эстетика», а последнее обязательно предполагает нечто чувственное¹, — эстетика неотделима от момента сенсуального, чувственного. Ведь слово имеет свою чувственную материю, оно несет чувственную радость. А краски, цвет? Цвет хотя и несет смысл, но одновременно радует и наши чувства. Мысль в этом плане находится в особом положении. Я прочитаю одно стихотворение Баратынского...

Существуют и происходят очень странные совпадения. (Об этом мне тоже придется говорить, чтобы у вас не было смущения, не возникало бы комплекса неполноценности перед тем, что тема такая высокая, перед высоким делом мышления; чтобы у вас не было сознания, что вы-де ничтожны, а мысль великих мыслителей велика, и вам до нее не достать.) Пока я условно назову это коинцидентом, то есть совпадением. Я хочу сказать: если вы что-нибудь помыс-

¹ Слово «эстетика» происходит от древнегреческого αἴσθησις — чувствование. (Здесь и далее — примечания редактора.)

лили, это — ваше, даже если кто-то другой это уже говорил и это существует. Конечно, трудно определить критерий, по которому можно отличить помысленное от непомысленного, и пока нам придется остаться на интуитивном уровне; это будет темным вопросом, пока мы не прокрутимся по всем ответвлениям этой темы. Так вот, если нечто помыслено вами — оно ваше, даже если это совпадет с мыслью другого человека.

Часто приходится задумываться над этим, когда встречаешься с рассуждениями определенного рода. Например, люди очень любят иерархию — что выше, что ниже; берут бесконечные проблемы: что выше — художественная истина или научная? Искусство или философия? Философия или наука? Чувства или мысль? И тому подобное. Сформировалось такое образное представление, что самая высшая радость и самое высшее состояние человека — это состояние художественное. Это представление предполагает, что у художника, артиста, писателя всегда есть какая-то особая привилегия. Мне же всегда казалось, что у художника есть нечто, что помогает ему и этой помощью делает (условно, конечно, я не пытаюсь устанавливать иерархию) его работу ниже работы мыслителя. Я хочу сказать о такой стороне труда, как удача или неудача. Когда поэт пытается истинно выразить некое состояние, даже если ему не удастся до конца достичь ясности в том, что он испытывал, у него всегда есть промежуточный слой успеха, приносящий ему удовлетворение. Этот слой есть сама чувственная материя стиха. Поэтому, если поэт не добился по каким-то причинам полного успеха в слое мысли (поскольку стихотворение тоже мысль), этот неуспех мог быть компенсирован успехом в промежуточных слоях, которые всегда присутствуют, — скажем, какая-либо уникально найденная аллитерация может испулить неполный успех в сути дела, то есть в мысли.

Вот почему, когда я встретил у Пруста рассуждение о том, что поэтическая радость — это высшая радость, я подумал: «Нет, мой милый Пруст, хотя я очень тебя люблю, ты все-таки не прав». Всегда есть этот, так сказать, клапан безопасности, выпускающий пар. Напряжение духа, может быть, оказалось не вполне успешным, но оно, тем не менее, принесло удовлетворение тем, что в промежуточном слое чувственной конструкции (а стих обязательно есть чувственная конструкция) есть успех и можно хоть чему-то обрадоваться, — чему-то, что не есть радость мысли. Следовательно, тем самым я уже отличаю радость мысли от другой радости, от эстетической радости.

Думая о таких вещах, я оказался в положении, в котором мне представлялось, что я подумал нечто интересное, но в действительности люди уже так думали. Я встретил эту же мысль у Евгения Баратынского. Правда, на мой взгляд, он не совсем законно выделяет среди художников именно художника слова, в отличие от живописца, скульптора или музыканта, у которых большую роль играет чувственная материя, и объявляет его (художника слова) мыслителем. Его стихотворение так и называется, оно обращено к художнику слова, и на Баратынского распространяется мое возражение, которое было обращено к Прусту, — ведь у слова тоже есть материя, а именно о материи идет речь у Баратынского. Стихотворение звучит так:

Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!¹

¹ Из стихотворения Е. А. Баратынского «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» (1840). См.: *Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы*. М., 2011. С. 25.

Возможно вам, как и мне, понравится это словосочетание: «перед тобой (мыслью), как перед нагим мечом». В случае мысли — никаких прикрас, никакой чувственной материи (*Hic Rhodus, hic salta!* — «Здесь Родос, здесь прыгай!») и никакого промежуточного слоя; если тебе не удалась мысль, тебе не удалось ничего. Нет ни аллитерации, ни редкой звонкой рифмы, ни удачно найденного и ясно переданного смутного настроения, какое бывает в магии поэзии. В магии можно выиграть, не вполне пройдя всю дорогу, а здесь — «мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная», то есть бледнеют краски земной жизни, ее чувственные оттенки, и тем самым нет возможности самоудовлетворения. Но мы в конце концов собираемся радоваться мысли так же, как мы радуемся искусству, только ведь в радости мысли, в эстетике мысли есть нечто, выделяющее ее из всего другого: «как перед нагим мечом», нагой меч — или все, или ничего.

То, что я говорил о пронзительной ясности, очень похоже на этот «нагой меч». Это — пронзительная, сладко тоскливая ясность при невозможности какого-либо действия, при полной неразрешимости того, что ты видишь; то, что ты видишь в обнаженном, нагом виде, является источником радости именно потому, что оно обнажено. Только вот обнажить это бывает трудно. В юности это состояние обнаженности приходит к нам, как молния, как мгновение, и уходит так же быстро, как пришло, — не всякий потом научается всей своей жизнью и вырабатываемыми «мускулами» расширять это мгновение ясности. Сначала оно дается даром, но расширить и превратить мгновение в устойчивый источник светлой радости мысли — для этого нужен труд. Не всякий может встать на путь этого труда или даже просто решиться, потому что иногда страшно то, что выступает там в обнаженном виде. И тем труднее для нас обнажить то, перед чем уже нет никаких скидок, никаких компенса-

ций, никакого алиби, никаких извинений за то, что мысль в любой данный момент всегда существует, она уже дана в виде своих же собственных симулякров. Слово «симулякр» по-латыни означает «привидение» или «двойник-привидение», то есть нечто подобное действительной вещи, но являющееся лишь привидением и заменяющее эту вещь.

Simulacra modis pallentia miris — «бледный симулякр», тени вещей, которые мы видим. В любой данный момент, когда вы захотите мыслить, эта мысль всегда уже существует в виде своего подобия по той простой причине, что в любой данный момент в языке есть все слова [для ее выражения]. Представьте, что я на секунду встал с этого стула, посмотрел в другую сторону, потом повернулся, снова захотел занять свое место, а там уже сижу я — я такой, какой уже помыслен другими как симулякр. В мире вокруг меня уже есть я. Если вы обратите внимание на символ распятия Христа, то он среди многих других содержит и этот смысл. Иисус Христос — кто он? Христос — человек, делающий чудеса. А поставьте себя на место Христа: у вас есть некое живое, ваше собственное состояние, а оно уже существует в неживом виде, в ожидающих глазах окружающих вас людей; они знают, что вы — Христос, человек, творящий чудеса, исцеляющий и так далее. Ведь в каком-то смысле можно быть распятым и на образе самого себя — в этом смысле в образе распятия Христа содержится некая ирония и насмешливый взгляд по отношению к окружающим. Христос распят на том образе самого себя, каким его видят, каким он должен быть по представлениям верующих христиан.

У кого из нас — разумеется, я не имею в виду такой высокий ранг — в более скромном виде не было этого ощущения: еще до того, как мы испытали некое состояние и смогли его выразить и даже пережить, оно уже существует в виде симулякра, как если бы

мы должны были пережить именно это, а не что-то другое. Кто из нас не испытывал того страшного недоумения, которое всегда окружает всякую нашу попытку нечто помыслить? А в чем состоит недоумение? Оно бывает перед человеком, который употребляет те же слова, которые хотите употребить и вы, ставит вопросы, которые вы не можете отвергнуть, потому что они составлены вполне логично из имеющихся слов, — других слов у нас нет, — и при этом мы испытываем недоумевающее смущение, все время думается: ну не то, что-то не то. А что «не то»? Да просто раз существуют слова, то из них можно создать миллион умных вопросов, и известно, что один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и миллион мудрецов просто потому, что всегда есть все слова, посредством произвольной комбинации которых можно получить симулякр-ответ, то есть тень ответа на любой ваш вопрос. Любое ваше мучение, переживаемое как несомненно очевидное и уникальное для вас и требующее мысленного разрешения, уже существует в ответах. Или, по-другому, — всегда есть вербальный мир, который сам порождает псевдovoпросы, псевдопроблемы, псевдомысли, и отличить их от истинной мысли невозможно.

Возьмем, например, пушкинскую фразу: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Как отличить покой от стремления ленивого человека к покою, когда человек говорит «я хочу покоя» или «я стремлюсь к покою»? Ленивый человек хочет покоя. Я десятки раз попадал в такую ситуацию со словом «покой», особенно в контексте русской культуры, которая в определенной степени насыщена довольно сильным комплексом антимещанства. Лишь бы человеку не было хорошо (когда человеку хорошо — это уже по определению плохо: значит, он мещанин). Это можно было бы и далее расшифровывать, но я возвращаюсь к нашей реальной экзистенциальной, жиз-

ненной ситуации. Когда вы общаетесь с этими людьми в жизни, разговариваете с ними, то неужели вы не ощущаете бессилия от невозможности пройти между действительной мыслью и ее симулякром?

Самое большее, чего можно хотеть, — это внутренний покой. Чем отличается этот «внутренний покой» от жажды покоя ленивым человеком или мещанином, успокоившимся на материальном благосостоянии? Как отличать одно от другого и как задавать вопрос? Почему один вопрос умный, а другой — глупый? Само отличие умного от неумного уже было бы актом ума, и если вы актом ума отличаете симулякр от ума, то сам акт, вот такое отличие, вы определить не можете. При этом даже если вам удастся отличить, то, поскольку само отличие — акт ума, определить, дать список критериев, по которым одно отличается от другого, вы не в состоянии.

В курсе лекций о Прусте мне уже приходилось сравнивать его роман, который является записью духовного странствия или мистического путешествия души (странствия души в мире), с дантовским путешествием по Аду. Напомню, что взору Данте предстало знаменитое чудовище обмана, которое он-то видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно, — невозможно передать другому это увиденное (видимое уникально), потому что уже есть обычные слова, описывающие это зрелище. И проскочить мимо этих слов невозможно, так как всегда есть все слова и есть только те слова, которые есть. Данте чувствует, что если он скажет это слово (а он может сказать только его, ведь других просто не существует), то это будет уже не то, что он видит. И он вдруг восклицает:

Мы истину, похожую на ложь,
Должны хранить сомкнутыми устами...¹

¹ Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. С. 144.

Иначе говоря, он приходит к ситуации молчания. А я хочу выделить ситуацию «истины, похожей на ложь». В то мгновение, когда вы уже почти что сформулировали какую-либо истину, вы вдруг видите, что она похожа на существующую ложь и, если вы ее произнесете, она сольется, совпадет с существующей ложью. Тогда приходится молчать.

Теперь посмотрим, что же у нас получилось? Первое — чувственных радостей мы лишились; если мы собираемся мыслить, нас не выручат промежуточные успехи: нагой меч перед нами. «Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная». Во-вторых, если нам повезет на мысль, то мы оказываемся в мысли вынужденными к молчанию. Ведь в любой данный момент есть все слова, а из слов составлены симулякры, которые вполне похожи на наше видение. И вот душа начинает кричать, душа становится похожей на движение человека, пораженного пляской святого Витта.

Болезнь внешне выражается в том, что все члены тела — ноги, руки, все, созданное для жеста и движения человека, — приходят сами по себе в движение, причем подчиняясь определенному ритму. Скажем, рука делает жест, затем вторая рука делает жест, за ней нога, и живое человеческое тело превращается в автоматический самодвижущийся механизм. Чтобы передать страдания живого человеческого состояния, в данном случае — мысли, я хочу привести образ. Я прилетел из Москвы в Тбилиси, был солнечный день жаркой, пронзительной, настоящей тбилисской осени. Ожидая, пока привезут багаж, я увидел на газоне около павильона старого человека, он просто стоял на траве и вдруг наклонился, прикоснулся правой рукой к левому колену, сжал его, затем поднес руку к носу, потом сделал какое-то движение рукой, еще раз наклонился и сделал еще какое-то движение. Затем все началось сначала: снова эта рука касается колена, потом носа и так далее. А представьте себе, что

внутри этого механизма — живая человеческая душа и она неумолимо совершает все эти движения. Душа совсем этого не желает, это не она, эти движения не движения ее воли, — оказалось, внутри этого механизма, под его скрежетом тоже есть душа. Как же она должна вопить внутри цикла этих вынужденных движений! Припадок длится минут пять и затем проходит, а наступает без предупреждения, в любое время.

А если, например, растянуть [цепь этих движений]? Тогда можно себе представить, что вся наша жизнь есть пляска святого Витта, а наша живая душа кричит внутри последовательности — совершенно абсурдной, нелепой, вынужденной, произвольной последовательности каких-то ритуальных движений. Ведь движение в пляске святого Витта имеет совершенно ритуальный рисунок: одно строго следует за другим, рисунок задан и не может быть нарушен. Человек впадает в эту пляску и выйти из нее не может.

Но вот вопрос: на то время, пока он впадает в эту пляску, разве душа перестает существовать? Она же где-то существует — живая душа, живое восприятие. Где? Если мы возьмем эту метафору, растянем ее и предположим, что такое состояние может длиться не пять минут и не выражаться в виде болезни, а быть всю жизнь якобы говорением — в последовательности слов, якобы переживанием — в последовательности переживаний, якобы деланием — в последовательности дел, то все это может быть пляской святого Витта. Значит, мы знаем, что можем испытывать живое состояние, а в это время место уже занято; я повернулся, а на стуле уже сидит «Я»; я знаю, что это не я, но место занято. А куда мне деться с моей мыслью?

Оказывается, в области мысли, как и в других областях, мы испытываем то, что налаженный механизм мира заранее вытесняет собою и своей глыбой давит любое живое состояние, то есть вытесняет то, что для меня несомненно живое. «Я» несомненно для

меня, а ему нет места. И очень часто тем, что называют проблемой самовыражения, или выражения человека, является как раз проблема того, как это выразить. Когда человек называет нечто невыразимым, когда он страдает от непонимания других, чаще всего именно этому ощущаемому изнутри как несомненно живому нет места в мире действий и выражений (ведь выражения — это тоже действия) — оно уже занято. Рука — моя, я хотел ею двинуть в соответствии с живым состоянием или восприятием, а она уже движется в пляске святого Витта: к колену, потом к носу и так далее.

В свое время люди, которые обосновывали и выработывали научный взгляд на вещи, то есть создавали объективную картину мира и основанную на ней науку, в качестве примера явления, с помощью которого мы отличаем научную реальность от того, что нам кажется реальностью, приводили движение Луны на своей орбите. Вы знаете, что одним из актов мышления является сознание, что мысль не властна над реальностью, то есть отличие самого представления от реальности есть акт мысли. И если бы оказался возможным акт остановки моей рукой движения Луны, то это был бы совершенно мистический акт, — человек не может произвольным движением, диктуемым его мыслью, остановить Луну. Так говорят люди, обосновывающие научное мировоззрение.

Однако по ясно оговоренной этими же мыслителями позиции мистичен не только акт остановки рукой движения Луны на ее орбите, но столь же мистичен и простой акт движения нашей руки. Луну остановить мы не можем, а рукой двигать можем, хотя по природе своей и то и другое одинаково мистично. Вдумайтесь — каким образом я могу мыслью приводить в движение руку? Кто это знает, кто это понимает и кто, если выразаться на псевдонаучном языке, имеет модель этого происшествия? Моя мысль дви-

нула руку — как она могла это сделать? Во-первых, как нечто материальное можно привести в движение, и, во-вторых, как можно мыслью скоординировать столько элементов этого движения? Любой анатом нам расскажет, из скольких элементов состоит всякое сочетание двух мускулов в работе, и, если бы актом мысли все это необходимо было бы делать, это оказалось бы невозможным. Тем не менее некий духовный приказ или мысленный приказ приводит руку в движение — это такая же мистика, как если бы кто-то остановил Солнце или Луну.

То, что я говорю, может быть, кажется пока примером интересным, но не относящимся к тому, о чем я говорил раньше. Но я говорю все о том же *живом*, которое может быть задавлено каким-то механизмом и искать себе выражение. Пока все в порядке, действие, которое мы не можем совершать чистой логикой, а совершаем духовным приказом, совершается. Все обстоятельства складываются так, что человек действительно желает двигать рукой и двигает ею. Но представьте себе тот же выразительный акт движения руки, но не все в порядке, причем независимо от нас. Скажем, в пляске святого Витта не все в порядке: руки двигаются, а выражения нет. Более того, мысль предполагает, что в любой данный момент, если она выражается, она расположена на энном числе точек, то есть я говорю, и вы (слушающие) понимаете то, что я говорю, и я понимаю то, что говорю. Это означает простую вещь: мысль одновременно существует и в ваших головах, и в моей голове. Как это происходит, никто не знает, но то, что это происходит, мы об этом узнаем... (...)¹

Вернемся к тому, что у нас есть некое состояние, условно назовем его переживанием. Впоследствии мы

¹ Здесь и далее знаком (...) отмечены обрывы аудиозаписи и перерывы в лекциях.

будем вести это переживание к состоянию мысли, но пока мы не знаем, что такое мысль. Просто назовем это переживаемым нами состоянием, в котором с очевидностью мы живем, и мы убедились, что кроме очевидности того, что мы живые в том, что мы испытываем, есть еще некая ситуация, некоторое сочетание обстоятельств, при котором этому нашему состоянию (или переживанию), с очевидностью переживаемому нами в таком виде, что мы в нем живем, может и не быть места. Вопрос этот, как мы убедились, непростой, он связан с тайной мироздания. Я говорил, что таинственно было бы остановить Луну на орбите рукой, но мы часто не думаем о том, что не менее таинственно то, что мы вообще можем двигать рукой, что может проходить координация элементов, во-первых, слишком многих для нашего ума, во-вторых, несовместимых друг с другом. Материя несовместима с духом. Как дух может двигать материю?

Значит, уже есть тайна — тайна соединения души и тела. Кстати, Декарт в свое время (его, беднягу, часто упрекают в дуализме, которым он как бы разделит мир на две субстанции: мысленную и телесную) предупредил, что есть нечто, что можно назвать третьей субстанцией, а именно союз, или соединение, тела и души, которое само по себе ниоткуда не выводимо и ни к чему другому не сводимо. Что называть субстанцией, почему мысль называется субстанцией или почему тело называется субстанцией? По одной простой причине: субстанцией мы называем то, что не имеет никакого другого носителя, ни к чему другому не сводимо и является носителем самого себя. Таковой субстанцией является, например, материя. Можно допустить и существование мысленной субстанции. Но есть еще одно нечто, которое есть, но которого не должно было быть. Координация, совпадение наших любовных чувств на любовном свидании есть такое же таинственное соединение, как движение ру-

ки, такая же координация многих элементов, к тому же содержащая в себе такие вещи, которые мы не можем заместить или возместить мыслью. Мысль не властна над реальностью, и человек не может включить в такую координацию выдуманый из головы элемент. Если повезет, человек может увидеть сцепление этих обстоятельств в ясном сознании, но это ясное сознание тоже есть событие в мире, которое нельзя вызвать по нашему произволу.

Из всего, что я говорил, вытекает, что мысль непроизвольна, мысль тоже есть такое явление, которое мы не можем иметь по своему желанию, — нельзя захотеть и помыслить. Мы можем иметь ее лишь как событие в движении, которое завязывает многие нити, — именно движение (а не мы, не наш голый рас-судок) завязывает их так, что вдруг событие мысли случается. Такие же нити завязываются, когда случается понимание. Понимание нельзя передать: если вы не понимаете до того, как вам нечто говорится, то говоримое нельзя передать никакими логическими средствами, никакими средствами общения, если до этой передачи мы с вами не связаны каким-то другим способом. А в этом способе уже приходится применять другие понятия и представления.

Например, в таких ситуациях можно говорить: судьба или не судьба. Скажем, тебя не поняли, и ты говоришь: «не судьба», — ты не говоришь, что слушатели не умны, что сам недостаточно хорошо объяснил. Нет, все умные, и все на своем месте — но не получается, «не судьба». Значит, мысль имеет отношение к тому, что мы называем судьбой; более того, фактически, когда мы говорим о мысли, мы говорим о существовании, то есть о чем-то другом, нежели сама мысль, — о бытии. Почему?

Мысль, или живое, не уместается внутри пляски святого Витта, с очевидностью сознает себя живым. Мы очень часто оказываемся в таком положении, что

с ясностью говорим о чем-то из нашей жизни, из нашего сознания — «это не жизнь, это не существование». В каком смысле мы это говорим? Человек, находящийся внутри пляски святого Витта, или белка, которая бежит внутри колеса, глядя на свои собственные движения, конечно, скажет: это не жизнь, это не существование. Так и мы, приходя к некоей точке, говорим именно в этом смысле: это не жизнь, это не существование, то есть не моя жизнь, не мое существование. Слово «существование» возникает именно там, где возникает то, что мы пока называем мыслью, а именно живая очевидность чего-то, или живое самоочевидное переживание, которое может быть удачным, а может быть и неудачным, то есть неуместным. Мы можем оказаться неуместными именно в том, в чем мы есть мы, неуместными подобно женщине, которая целовала своего мужа, держащего в ту минуту поленья, и оказалась неуместна в том, что в ней переживалось как самое лучшее, как самое искреннее и возвышенное — как любовь.

То, что я называл выражением, задавая вопрос, можно ли вообще что-то выразить, что значит выразить справедливость, выразить чувства, связано с существованием, с тем, в чем мы есть или не есть. И (сделаем следующий шаг) это существование стоит в срезе реализации или нереализации. Случилось или не случилось — ведь во мне может что-то происходить, но это происходящее как бы не случилось. У человека, охваченного пляской святого Витта, нечто не случилось; должно быть или собирается быть, но не случилось, не реализовалось. А если человек двинул рукой не в пляске святого Витта, а в осмысленном движении взял трубку, то нечто случилось, — все сошлось так, что это случилось, реализовалось. Ведь когда мы взыскуем справедливости, то чаще всего мы имеем дело со своими собственными состояниями, которые не есть то, чем мы их называем, — они не

есть именно по признаку «случилось — не случилось», «реализовалось — не реализовалось», «получило бытие или не получило», «осуществилось или не осуществилось». Скажем, потуга, порыв честности, чести, — он (порыв) психологически может быть несомненен для того, у кого есть этот порыв, но порыв честности — это одно, а честность — это другое. Намерение справедливости есть одно, а справедливость — другое.

Это другое, «пришпиленное» к справедливости и чести, обозначим для начала таким словом — «искусство», или «труд». Я хочу сказать, что тогда честность не намерение, а труд, или искусство, — нужно суметь быть честным. Здесь у нас возникает дорога именно к мысли, потому что мы вводим отличие, мы отличаем эмпирически переживаемое состояние от чего-то другого — от действительности; то есть у нас возникает недоверие к эмпирической несомненности неких состояний в нас самих. Например, слабый немускульный человек испытывает желание добра, но оказывается (поскольку добро — это искусство), что желание оборачивается злом и момент начала мысли состоит уже в том, что человек может сказать себе: добро, данное эмпирически, то есть в моем несомненном переживании (оно дано в виде желания добра или намерения добра), — это одно, а добро [само по себе] — это другое.

В историческом ходе выработки философской, или мыслительной, терминологии такое отличие обозначилось следующим образом. Скажем, есть эмпирические факты справедливости или добра, а есть добро само по себе или справедливость сама по себе. Это слово, если оно вам встречалось, звучало как абстрактное понятие, наверняка с прибавлением прилагательного «идеалистическое». Якобы существует некий идеальный объект, называемый справедливостью, или объект, имеющий некое идеальное, неэмпи-

рическое существование, или добро само по себе, то есть некий идеальный объект, существующий, скажем, в платоновском мире сам по себе. Эти ассоциации мы должны пока остановить. Почему? Я сказал, что добро отличается от доброго намерения тем, что то, что мы назовем добром самим по себе, связано с целым созвездием терминов: случилось, действительно произошло, реализовалось и так далее. Также оно связано с искусством. В обычном смысле слово «искусство» происходит от искусного делания чего-то. Нужно *уметь*. Следовательно, недостаточно эмпирически испытывать желание, доброе намерение, но должно быть еще нечто, связанное с добром. Это «еще нечто» мы уже можем назвать «добро само по себе» или «справедливость сама по себе», и наш шаг к нему назвать мысленным шагом, поскольку нечто мыслится в отличие от того, что эмпирически переживается. Намерение добра может эмпирически пережить любой расхлябанный человек, трус переживает храбрость или желание быть храбрым (но он трус), а добро само по себе возникает тогда, когда мы объявляем акт недоверия к факту переживания добра.

Иными словами, мы начинаем понимать, что человек — существо, для которого не существует естественного добра, естественной справедливости, естественной честности, то есть того, что происходило бы просто само собой, фактом его эмпирического испытывания или намерения. В религиозно проработанной, религиозно грамотной европейской культуре эти вещи давно уже отработаны. Собственно, для этого и нужен язык религии, — нужен для того, чтобы отличить человека, стремящегося к добру, от человека доброго, то есть отличить добро как психологическое качество (французы в этих случаях говорят *velléité* — «потуга», то есть потуга добра, изнутри психологически достоверная для человека) от добра [самого по себе].